

«ОН БЫЛ ОДАРЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДАННЫМ РОДИНЕ И СЕМЬЕ...»

(Начало на 1 стр.).

На протяжении многих лет я мысленно возвращалась в те далекие времена. Мне было 9 лет. Я очень любила папу, но разве задумываешься в этом возрасте, кто и что твои родители? Начну с того, как сложилась судьба Зинаиды Ивановны, моей мамы, до 1978 года и как все мы оказались в Ленинграде. После ареста папы 29 мая 1937 года нам пришлось освободить квартиру на Советской улице города Мариуполя. Люди не захотели сдавать комнату семье «врага народа». Наконец маме удалось снять комнату в частном доме на улице Карла Либкнехта у Руденко. Мама готовилась к аресту, чемоданчик был собран.

Я помню, что когда арестовали в Магнитогорске инженера-доменщика Шевченко, то забрали и его жену-домохозяйку. У них было много детей, может, пять, в том числе и моя подруга Лина. Наш коттедж на Березках был № 4, а их — напротив, через дорогу. Потом туда переехал директор комбината А. П. Завенягин. Много было примеров, как с мужьями или посадили жен. Мама очень энергично взялась за то, чтобы до своего ареста пристроить нас, чтобы в детдом не взяли, как детей того же Шевченко.

Старшую, Нину, взяли в Ленинград семья мамы, их там много было в одной квартире. Колю мама тоже пристроила в Ленинград, но в семью папы. Меня — в город Клиницы Орловской области к маминной сестре Татьяне Ивановне.

Чудо, но маму не арестовали. Она была партийной с 1921 года (ей тогда было полных 20 лет), была ужасная активная со своим образованием и положением, учила делу партии то жен-домохозяек, то своих сотрудников. О том, «что к чему», начала понимать значительно раньше 1937 года. Есть такая запись в дневнике, я сейчас ее не нашла сразу, но помню: она и папа смотрят нашумевший новый фильм (может быть, «Веселые ребята»), а там песню поют: «С каждым днем все радостнее жить». Они «переглянулись и поняли друг друга» (фраза дословная).

З партии мою дорогую мамочку исключили, так как она не признала мужа врагом народа, а считала арест ошибкой. Есть такая запись после ее исключения из партии: «Голосовали, конечно, все — исключить». Я вышла с чувством горькой обиды и одновременно испытала чувство громадного облегчения. Я теперь имею право думать и судить по своему разумению. Я могу не лицемерить перед людьми и самой собой. И про черное имею право думать, что оно черное». Это было партсоборание ячейки горбольницы Мариуполя, впереди еще был горком партии. К счастью, с работы маму не уволили, но не разрешили быть заводчелением. Чтобы нас всех обеспечить, она жутко много работала. Кроме работы ординатора взяла на себя все дежурства. «Почти все врачи нашей больницы имели частную практику, очень тяготились дежурствами по больнице. Постепенно один за другим все врачи сдали мне свои дежурства, оставаясь в списке. Главный врач Н. В. Сикорский смотрел на это спокойно. Коллектив был без донощиков. Я зарабатывала, остальные спокойно спали ночью по домам».

Спустя пару лет маме дали маленькую квартирку при больнице. Вскоре в Мариуполь она забрала из Ленинграда маленького Колю, позже — меня. В 1941-м началась война, и уже 8 сентября немцы вошли в город. Городская больница к тому времени стала военным госпиталем, а мама — капитаном медслужбы. Медики покидали город последним эшелонном того же 8 сентября под бомбежкой и обстрелом. Эшелоны впереди разбомбили, наш уцелел. В эвакуацию парторг брать маму не хотел, сказал, пусть вра-

жья жена и ее дети у немцев остаются, но начальник госпиталя Гурфинкель взял на себя ответственность, сказал, что не мыслит госпиталь без такого специалиста.

Перипетии эвакуации оставлю в стороне. После длительных блужданий госпиталь развернул работу под Сухуми. Привозили тяжело-раненых с Севастопольского фронта (конец декабря 1941 года). Бедную мою мамочку, конечно, загрузили работой больше всех. Самое тяжелое отделение было, где работала она. Хирурга из отделения забрали, 80 тяжело-раненых перевязывала моя мамочка по несколько раз в день: такие тяжелые раны были. И жилье нам дали хуже, чем другим: две семьи вместе, а другим врачам отдельные комнаты даже на одного, а нас было трое: мама, я, Коля...

Что-то я в ненужные детали кинулась. Сестра Нина пережила все четыре года войны в Ленинграде, хлебнув блокады в полную меру. 18 лет ей было, и никакой специальности, только школу окончила. В доме нашем не было запасов, никто не работал на «хлебном месте». К весне 1942 года в местечке, где мы жили, кто умер, кто эвакуировался. Это теперь пишут, как все работало. Так это счастливики были. Куда можно было устроиться, если предприятия закрывались или эвакуировались? Не работаешь — получишь 125 граммов хлеба в день.

Благодаря сестре сохранилась одна комната в довоенной пятикомнатной квартире семьи мамы. Вот туда в 1945 году приехала я, поступила в институт, Нина — в консерваторию.

После войны и закрытия госпиталя маму пригласили на работу в санаторий ЦК КПСС Украины в Старой Гагре. Одновременно консультировала в санатории имени «XIX партсъезда». По воле судьбы стала работать в привилегированном четвертом медуправлении и лечить партийную номенклатуру. Если у вождей на их южных дачах что-то случалось, то маму отвозили туда на консилиум. Видно, хорошим специалистом она была...

Коля, наш младший, окончил школу в Гагре и потом тоже приехал в Ленинград и закончил институт точной механики и оптики (ЛИТМО). Так мы все оказались в Ленинграде и даже в той комнате, в которой в 1923 году у молодых супругов Клишевичей родилась Нина. После войны квартира стала коммунальной, а до войны там жила семья мамы. И мамина, и папина семьи попали в Петроград в 1914 году, спасаясь от немцев. Отец жил в Бресте, мама — в Вильно, отсюда семьи и бежали с началом войны.

Когда брат Коля окончил институт, мама ушла на пенсию. За особые заслуги ей разрешили ведомственную комнату санатория обменять на комнату в Ленинграде, и она воссоединилась с детьми в 1963 году. Мы уже все работали и жили врозь, каждый своей семьей. Позже удалось сделать обмен, и мама стала на старости лет жить с Ниной. Умерла мама так же достойно, как и жила. Поставила себе диагноз — инфаркт, через два часа поставила новый диагноз — отек легких. После этого через час умерла. Сказала только: «Как трудно умирать...»

Часто я думаю про поколение моих родителей. В чем-то это были наивные люди с их фанатичной верой в светлое будущее, но это были цельные личности, безусловно честные и бескорыстные.

Вернусь к вашему письму, где вы просите дополнить рассказ об отце воспоминаниями и рассказами знакомых, родственников и друзей отца.

Скажу вам, что именно из статьи Ю. Волкова и И. Манаенко я узнала, каким инженером был мой отец,

какие технические решения он разрабатывал, что он опубликовал 10 статей и книгу по доменному делу. Спасибо им.

В нашей маленькой семье — мама, Коля и я — никогда об отце не говорили. Теперь я пытаюсь разгадать эту загадку и решаю ее по-разному, чаще всего так: мама хотела, чтобы мы не были отягощены непонятными для детского сознания мыслями, чтобы мы были как все дети. Я никогда не задавала ей вопросов о папе, но постоянно его помнила. Коля лет в пять вопрос задавал: «Где мой папа?» Что-то ему мама отвечала. Не знаю, что. Однажды Коля кинулся к одному раненому в госпитале с возгласом: «Папа, папа!»... Скоро он перестал задавать этот вопрос.

Мы выросли со здоровой психикой, вступили в пионеры, потом стали комсомольцами. В партию не вступил ни один из нас: мы были уже взрослыми, понимали что к чему, знали, что в наших биографиях есть болезненный извечный след.

Что могу написать о папе? Что могла, то написала в статье в вашей газете «Магнитогорский металл» 1 января 1990 года. В ней есть и мои детские воспоминания. Попробую еще что-нибудь вспомнить, но это будет не на тему его заслуг или работы.

Итак, мой папа самый лучший, самый добрый, я его все время жду, а он все на заводе и на заводе. Не маму я жду, а папу. И очень мне без него плохо. Почему? Не знаю. Когда он был за границей, мне было около трех лет, я помню, как днями и вечерами рассказывалась в любимой венской качалке и пела заунывную грустную песенку, которую и сейчас спеть могу. Я сочинила ее слова и мотив сама, там были три короткие фразы по два-три слова в каждой. До чего я всем надоела, наверное, потому что я пела ее снова и снова. Говорили, очень жалобно пела:

Скоро папочка приедет,
Скоро миленький приедет,
Паровозик ту-ту-ту...

Оканчивала и снова начинала. Пела долго и ежедневно, пока он не приехал.

Помню, как в Магнитогорске папа учился играть на скрипке. Еще маленьким мальчиком он долго возился, пилил, клеил и соорудил себе скрипку, «играл» на ней. Видно, мечта о скрипке оставалась с ним всегда. Свои музыкальные способности он «передал» старшей дочери, которая окончила Ленинградскую консерваторию и до конца своих дней преподавала в музыкальном училище. В Магнитогорске у папы была настоящая скрипка и, наверное, педагог. Поздно вечером он брал скрипку, играл экзерсисы, мне они поперек уха стояли. Мне разрешалось присутствовать и помакивать, я же хотела с ним поиграть. Я любила покатаваться на его широких плечах, кричала, что он — «слон», подгоняла слона, и мне было весело. После аварии на коксохиме 26 мая 1936 года его обожженные руки, особенно левая, зарубцевались так, что со скрипкой было покончено. Между пальцами левой руки остались перепонки, как у лягушки, и пальцы стали тонкими.

Еще он хорошо рисовал в молодости. Я видела его альбом с акварелями прежних лет, из-за границы он привез великолепную коробку акварели, ее я попыталась увезти в эвакуацию, но не получилось, не разрешили. Эту нереализованную способность к рисованию он передал мне, я окончила художественный вуз. Нашему Коле досталась изобретательская жилка, она проявилась в его инженерной работе.

Папа добрый был. Когда наша молодая мама пыталась наказывать нас за детские провинности, папа нас защищал. Мама была скоро на руку, папа нас никогда пальцем не трогал. А маме скажет: «Не надо, Зина», — она и остынет.

Когда я в первый класс поступала, папа привлек меня к себе и ласково спросил:

— Будешь учиться на «отлично»?

— Да.
И что вы думаете? Как получу отметку ниже, так вспомню, что папе обещала, и в следующий раз получаю «5». Фамилии своей я не поменяла от любви к папе. «Раз так с ним поступили, — думала я, — то буду всегда с его фамилией. Я его не предаю».

А еще помню, как он пишет, пишет в своем кабинете дома, лампа зеленая горит, мне разрешено тихо сидеть рядом. Я-то на него как смотрела? Дождаться да поиграть. Но молчу. Один раз спросила:

— Папа, мне скучно, что мне делать?

Он возьми и скажи:

— Певать и ловить.

Разочарованная в своих надеждах оторвать его от стола, я встала, начала певать и ловить, а он ноль внимания. Полежала я, стыдно стало, и я тихо села рядом с ним. Папа и бровью не повел, наверное, статью про домну писал, но прочул меня за глупость своим молчанием больше, чем прочул бы окрик.

У папы были четыре брата и сестра, происхождение их было «из разночинцев», все они, как папа, окончив гимназию, должны были сами пробивать себе путь. Папа, поступив в горный институт, кое-как уроками жил, а после революции по ночам железнодорожные составы разгружал. Все пять братьев получили высшее образование, все, кроме папы, работали в Ленинграде и дожили до старости, а его сестра даже до 95 лет и умерла в 1998 году в Москве. Вот у нее я и «выуживала» кое-что из семейной хроники Клишевичей. К сожалению, их семья распалась рано, после 1914 года, когда они спаслись от немцев. Их отец не успел выехать и стал иностранцем, с которым нельзя было даже переписываться. Опасно. В 1939 году он снова стал нашим подданным и доживал свой век, кажется, в Кобрине Брестской области.

...Когда случилась авария на коксохиме, то мой папа бросился на помощь работнику, который стоял на краю крыши, охваченный огнем. Папа хотел помочь ему, чтобы он не свалился, и его охватил огонь. Кажется, они упали с крыши вниз, так мне помнится из детства, но этот факт мамой не записан. Зря меня привели в больницу и показали папу: мама я еще была и отреклась от него не лучше апостола Петра. Он лежал без шеи, страшные черные стружки покрыли громадную голову, которая спилась с шеи. Все это было так страшно, что я онемела. Он спросил, звук из тонкой щели раздался неожиданно:

— Не нужен тебе такой папа?

— Да, — ответила я.

Меня увели.

Когда я связываю разные ниточки прошлых дел, то мне кажется, что авария была делом рук нашего идола, которому надо было создать прецедент — дело против своего «друга» Орджоникидзе. Все эти аресты, дела, расстрелы в ведомстве железного наркома создавали почву для его убийства или самоубийства.

Теперь о судьбе нас, троих детей Николая Васильевича. Никто из нас не рвался «наверх», что-то накрепко изнутри держало нас в сто-



роне от этого. Если бы Коля вступил в партию, он стал бы главным инженером на заводе «Пирометр», где работал, ему это сулили.

В подсознании у всех нас срабатывал охранный инстинкт. Мы, сестры, поступая в гуманитарные вузы, до смерти Сталина в своих анкетах арест отца скрывали, иначе бы нас отсеяли. Мы всегда помнили, что нам лишнего слова сказать нельзя. Может, права была мама, что в семье об арестах не говорили, оценок факту не делали, иначе мы бы выросли другими, быть может, диссидентами.

Мама, когда ей предлагали, в партию назад не вернулась. Она давно «протрезвела», но нам о своих взглядах, думах, своей боли никогда не говорила. Будто не было ничего.

О друзьях отца. После ареста их не стало. Они боялись: заведев маму, перешли на другую сторону улицы. Только после XX съезда КПСС, после развенчания Сталина мысли у людей чуть-чуть зашевелились, оцепенение стало спадать. Мама начала хлопоты по реабилитации Николая Васильевича еще в 1955 году, но получала в лучшем случае отписки. Она даже просила продвинуть это дело Павла Ивановича Коробова. Но люди еще были под страхом...

Вернусь к друзьям. Переезды, война, сталинизм. Нет друзей. Были у мамы свои верные, но это еще со времен работы отца на заводе Ильича. Кое-кто и поплатился за то, что хотел помочь маме.

Запросы о моем отце в свое время, будучи зеком, делал А. П. Завенягин. Он тоже был арестован, а запросы о моем отце делал, когда ему поручили строительство Норильского комбината и он подобрал себе команду из заключенных. Об этом мне рассказывал сын А. П. Завенягина, с которым я случайно повстречалась в Гагре.

Господи, что я еще знаю об отце? В Магнитогорске его научили охотиться. У него были охотничья двухстволка, одностволка и мелкокалиберная винтовка для тренировок в стрельбе. Когда он начинал патроны дробью, вставал пыжи, то я была тут как тут, сидела рядом, раскладывала пыжи. А когда он тренировался в стрельбе, я собирала маленькие желтые гильзы под деревом, где он стрелял. Как видите, я не отходила от папы. Я и в его кабинете на заводе сидела, и по заводу от меня водил. Я так отчетливо помню, как течет металл, как заглядывают в печь, какие вагонетки используют для металла. Мне очень нравился прокатный цех.

В своих воспоминаниях мама писала, что он был компанейский человек, любил побыть в гостях или принять их у себя. Он и на скрипке тогда играл. Так что не был он сухарем, а был полнокровным, энергичным, одаренным человеком, преданным Родине и семье. Когда его уводили от нас навсегда, он просил жену «воспитать детей коммунистически».

P.S. После того, как не стало сестры Нины, от нее мне досталось несколько фотографий моего папы. Пересылаю вам снимок 1934 года, когда он был еще начальником доменного цеха.

С уважением,

Н. КЛИШЕВИЧ.
Санкт-Петербург.